



"Рождественская елка"

Читайте больше **БЕСПЛАТНОЙ** литературы
в онлайн-библиотеке
mir-knigi.org

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА

Сегодня вечером я наблюдал за веселой гурьбою детей, собравшихся вокруг рождественской елки — милая немецкая затея! Елка была установлена посередине большого круглого стола и поднималась высоко над их головами. Она ярко светилась множеством маленьких свечек и вся кругом искрилась и сверкала блестящими вещами. Тут были розовощекие куклы, притаившиеся в зеленой чаше; было много настоящих часиков (во всяком случае — с подвижными стрелками, их можно было без конца заводить!), качавшихся на бесчисленных ветках; были полированные стулья, столы и кровати, гардеробы и куранты и всякие другие предметы обихода (на диво сработанные из жести в городе Уолвергемптоне [1]), насаженные на сучья, точно обстановка сказочного домика; были здесь и хорошенькие круглолицые человечки, куда приятнее с виду, чем иные люди, — и не удивительно: ведь голова у них отвинчивалась, и они оказывались начинены леденцами; были скрипки и барабаны, были бубны, книжки, рабочие ларчики и ларчики с красками, ларчики с конфетами, ларчики с секретами, всякого рода ларчики; были побрякушки для девочек постарше, сверкающие куда ярче, чем золото и бриллианты взрослых; были самого забавного вида корзиночки и подушечки для булавок; были ружья, сабли и знамена; были волшебницы, стоящие в заколдованном кругу из картона и предсказывающие судьбу; были волчки, кубари, игольницы, флакончики для нюхательных солей, «вопросы-ответы», бутоньерки; настоящие фрукты, оклеенные фольгой; искусственные яблоки, груши, грецкие орехи с сюрпризом внутри; словом, как шепнула в восхищении своей подружке одна стоявшая передо мной хорошенькая девочка, было там «все на свете и даже больше того». Этот пестрый набор предметов, висевших на дереве, как волшебные плоды, и отражавших яркий блеск взоров, направленных на них со всех сторон, — причем иные из алмазных глаз, любовавшихся ими, приходились еле-еле на уровне стола, а некоторые светились испуганным восторгом у груди миловидной матери, тетки или няньки, — являл собой живое воплощение детской фантазии; и мне подумалось, что все — и деревья, какие растут, и вещи, какие создаются на земле, — в наши детские годы расцветает буйной красотой.

И вот, когда я вернулся к себе, одинокий, и один во всем доме не сплю, мои мысли, послушные очарованию, которому я не хочу противиться, потянулись к моему далекому детству. Я пробую сообразить, что каждому из нас ярче всего запомнилось на ветках рождественской елки наших юных дней, — на ветках, по которым мы карабкались к действительной жизни.

Прямо среди комнаты, не стесняемое в росте ни близко подступившими стенами, ни быстро достижимым потолком, высится дерево-призрак. И когда я гляжу снизу вверх в мглистый блеск его вершины — ибо я примечаю за этим деревом странное свойство, что растет оно как бы сверху вниз, к земле, — я заглядываю в мои первые рождественские воспоминания!

Сперва я вижу все только игрушки. Там наверху среди зеленого остролиста [2] и красных ягод ухмыляется, засунув руки в карманы, Акробат, который нипочем не хочет лежать смирно — кладу его на пол, а он, толстопузый, упрямо перекачивается с боку на бок, покуда не умается, и пялит на меня свои рачьи глаза — и тогда я для виду хохочу вовсю, а сам в глубине души боюсь его до крайности. Рядом с ним — эта адская табакерка, из которой выскакивает проклятый Советник в черной мантии, в отвратительном косматом парике и с разинутым ртом из красного сукна: он совершенно несносен, но от него никак не отделаешься, потому что у него есть обыкновение даже во сне, когда его меньше всего ожидаешь, величественно вылетать из гигантской табакерки. Как и та хвостатая лягушка, там поодаль: никогда не знаешь, не вскочит ли она ни с того ни с сего, и когда она, пролетев над свечкой, сядет вдруг тебе на ладонь, показывая свою пятнистую спину — зеленую в красных крапинках, — она

просто омерзительна. Картонная леди в юбках голубого шелка, прислоненная к подсвечнику и готовая затанцевать, — она добрей, и она красивая; но я не сказал бы того же о картонном человечке, побольше ее, которого вешают на стену и дергают за веревку: нос у него какой-то злоедей; а когда он закидывает ноги самому себе за шею (что он проделывает очень часто), он просто ужасен, с ним жутко оставаться с глазу на глаз.

Когда эта страшная маска впервые посмотрела на меня? Кто ее надел, и почему я до того перепугался, что встреча с ней составила эру в моей жизни? Сама по себе маска не безобразна; она задумана скорее смешной; так почему же ее жесткие черты были так невыносимы? Не потому, конечно, что она скрывала лицо человека. Прикрыть лицо мог бы и фартук; но хоть я и предпочел бы, чтоб и его откинули, фартук не был бы так нестерпим, как эта маска. Или дело в том, что маска неподвижна? У куклы тоже неподвижное лицо, но я же ее не боялся. Или, может быть, при этой явной перемене, свершаемой с настоящим лицом, в мое трепетное сердце проникало отдаленное предчувствие и ужас перед той неотвратимой переменой, которая свершится с каждым лицом и сделает его неподвижным? Ничто не могло меня с ней примирить. Ни барабанчики, издававшие заунывное чириканье, когда вертишь ручку; ни целый полк солдатиков с немым оркестром, которых вынимали из коробки и натывали одного за другим на шпильки небольшой раздвижной подставки; ни старуха из проволоки и бурого папье-маше, отрезающая куски пирога двум малышам, — долго-долго ничто не могло меня по-настоящему утешить. Маску поворачивали, показывая мне, что она картонная; наконец заперли в шкаф, уверяя, что больше никто ее не наденет, — но и это ничуть меня не успокоило. Одного воспоминания об этом застывшем лице, простого сознания, что оно где-то существует, было довольно, чтобы ночью я просыпался в поту и в ужасе кричал: «Ой, идет, я знаю! Ой, маска!»

В те дни, глядя на старого ослика с корзинами (вот он висит и здесь), я не спрашивал, из чего он сделан. Помню, шкура на нем, если пощупать, была настоящая. А большая вороная лошадь в круглых красных пятнах, лошадь, на которую я мог даже сесть верхом, — я никогда не спрашивал себя, почему у нее такой странный вид, и не думал о том, что такую лошадь не часто увидишь в Ньюмаркете [3]. У четверки лошадей, бесцветных рядом с этой, которые везли фургон с сырами и которых можно было выпрягать и ставить, как в стойло, под рояль, вместо хвостов были, по-видимому, обрывки мехового воротника, а вместо гривы еще по обрывку, и стояли они не на ногах, а на колышках, но это все было иначе, когда их приносили домой в подарок к рождеству. Тогда они были хороши; и сбруя не была у них бесцеремонно прибита гвоздями прямо к груди, как это ясно для меня теперь. Тренькающий механизм музыкальной коляски состоял — это я выяснил тогда же — из проволоки и зубочисток; а вон того маленького акробата в жилетке, непрестанно выскакивающего с одной стороны деревянной рамки и летящего вниз головой на другую, я всегда считал существом хотя и добродушным, но придурковатым; зато лестница Иакова с ним рядом, сделанная из красных деревянных квадратиков, что со стуком выдвигались друг за дружкой, раскрывая каждый новую картинку, вся сверху донизу в звонких бубенчиках, была чудо из чудес и сплошная радость.

Ах! Кукольный дом! Он, правда, не был моим, но я хаживал туда в гости. Я и вполнину так не восхищался зданием парламента, как этим особнячком с каменным фасадом и настоящими стеклянными окнами, с крылечком и настоящим балконом, таким зеленым, каких теперь никогда не увидишь — разве что где-нибудь на курорте; но и те представляют собой только жалкую подделку. И хотя открывался он весь сразу, всей стеной фасада (что, согласен, неприятно поражало, так как обнаруживалось, что за парадным ходом нет лестницы), но стоило только закрыть ее опять, и я снова мог верить. В нем даже и в открытом были явно две отдельные комнаты, гостиная и спальня, изящно меблированные, и к ним еще кухня! Кухня была лучше всего: с плитой, с кочергой из необыкновенно мягкого чугуна и со множеством

всяческой утвари в миниатюре — ох, и с грелкой! — и с оловянным поваром в профиль, всегда собирающимся зажарить две рыбины. И с каким же восторгом я, как тот нищий в гостях у Бармесида [4], отдавал должное княжескому пиршеству, когда передо мною ставились деревянные тарелочки, каждая с особым кушаньем, окороком или индейкой, накрепко к ней приклеенной, под каким-то зеленым гарниром — теперь мне вспоминается, что это был мох! Разве могли бы все нынешние Общества Трезвости, вместе взятые, угостить меня таким чаем, какой пивал я из тех голубеньких фаянсовых чашечек, в которых жидкость в самом деле держалась и не вытекала (ее наливали, помню, из деревянного бочонка, и она отдавала спичками) и которые превращали чай в нектар? И если две лопатки недействующих щипчиков для сахара хлопались друг о дружку и ничего не могли ухватить, как руки у Панча [5], так разве это важно? И если однажды я завопил как отравленный и поверг в ужас приличное общество, когда мне случилось выпить чайную ложечку, растворенную ненароком в слишком горячем чае, так мне же это ничуть не повредило — принял порошок, только и всего!

вернуться

1

Уолвергемптон — город в графстве Стаффордшир, центр сталелитейной промышленности и производства металлических изделий.

вернуться

2

...среди зеленого остролиста... — По старинному английскому обычаю, в рождественские праздники дом украшается ветвями остролиста.

вернуться

3

Ньюмаркет — городок в графстве Кембридж. Со времени короля Якова I (1566—1625) известен как место скачек.

вернуться

4

...как тот нищий в гостях у Бармесида... — Здесь упоминается эпизод из книги сказок «1001 ночь», в котором рассказывается о скупом богаче из знатного персидского рода Бармесидов, который предлагал нищему Шакабаку пустые блюда, красочно описывая отсутствующие яства и вина.

вернуться

5

Панч (сокращенное Пунчинелла от итал. Пульчинелла) — самый популярный персонаж

английского кукольного театра (с XVII в.). Сценарий традиционного представления, в котором участвует Панч и его неизменный спутник собака Джуди, зафиксирован в книге «Панч и Джуди» (1828), принадлежащей перу литературоведа Дж. П. Коллнерса (1789—1883) и иллюстрированной Дж. Крукшенком (1792—1878).

На следующей ветке, ниже по стволу, возле зеленого катка и крошечных лопат и граблей густо-густо навешаны книги. Сперва совсем тоненькие, но зато как их много, и в какой они яркой гляцевитой красной или зеленой обертке! Для начала какие жирные черные буквы! «А — это Аист, лягушек гроза». Ясное дело — Аист! И еще Арбуз — пожалуйста, вот он! **А** было в свое время самыми разными предметами, как и большинство его товарищей — кроме **Я**, которое было так мало в ходу, что встречалось только в роли Ястреба или Яблока, **Ю**, неизменно сочетавшегося с Юлой или Юбкой, да **Э**, навсегда обреченного быть Эскимосом или птицей Эму. Но вот уже и самая ель преобразается и становится бобовым стеблем — тем чудесным бобовым стеблем, по которому Джек пробрался в дом Великана! А вот и сами великаны, такие страшные и такие занятные, двуглавые, с дубинкой через плечо, целым взводом шагают по веткам, тащат за волосы рыцарей и дам в свою кухню, на жаркое. А Джек — как он благороден с острой саблей в руке и в сапогах-скороходах! Гляжу на него, и снова бродят у меня в уме те же старые помыслы; и я раздумываю про себя, было ли несколько Джеков (этому не хочется поверить), или все памятные подвиги совершил один настоящий, доподлинный, удивительный Джек!

Хорош для рождества алый цвет накидки, в которой Красная Шапочка, пробираясь со своей корзиночкой сквозь чащу (для нее эта елка — целый лес), подходит ко мне в сочельник, чтобы поведать, как жесток и коварен притвора-Волк — съел ее бабушку, нисколько этим не испортив себе аппетита, а потом съел и ее, отпустив кровожадную шутку насчет своих зубов! Она была моей первой любовью. Я чувствовал, что, если бы мог я жениться на Красной Шапочке, то узнал бы совершенное блаженство. Но это было невозможно; и не оставалось ничего, как только высмотреть Волка — вон там, в Ноевом ковчеге — и, выстраивая зверей в ряд на столе, поставить его последним как злую тварь, которую нужно унижить. О чудесный Ноев ковчег! Спущенный в лохань, он оказался непригодным для морского плаванья, и зверей приходилось запихивать внутрь через крышу, да и то нужно было сперва хорошенько встряхивать их, чтоб они стояли на ногах и не застревали, а потом был один шанс из десяти, что они не вывалятся в дверь, ненадежно запертую на проволочную петлю, — но что это значило против главного! Полюбуйтесь этой великолепной мухой, в три раза меньше слона; и божьей коровкой, и бабочкой — это же торжество искусства! Полюбуйтесь гусем на таких маленьких лапках и таким неустойчивым, что он имел обыкновение валиться вперед и сшибать всю прочую живность. Полюбуйтесь Ноем и его семьей — глупейшие набивалки для трубок; а леопард — как он прилипал к теплым пальчикам; и как у всех зверей покрупнее хвосты постепенно превращались в кусочек истертой веревки!

Чу! Снова лес, и кто-то взобрался на дерево — не Робин Гуд, не Валентин [6], не Желтый Карлик [7] (я тут ни разу не вспомнил ни о нем, ни о других чудесах матушки Банч [8]), а Восточный Царь с блестящим ятаганом и в чалме. Клянусь аллахом! Не один, а два восточных царя — я же вижу, из-за его плеча выглядывает второй. На траве у подножья дерева растянулся во всю длину черный как уголь великан и спит, уткнувшись головой в колени дамы; а возле них — стеклянный ларь, запирающийся на четыре сверкающих стальных замка: в нем он держит узницей даму, когда не спит. Вот я вижу у него на поясе четыре ключа. Дама подает знаки двум царям на дереве, и они тихо слезают к ней. Это живая картина по сказкам Шахразады.

О, теперь самые обыкновенные вещи становятся для меня необыкновенными и зачарованными!

Все лампы — волшебными; все кольца — талисманами. Простые цветочные горшки полны сокровищ, чуть присыпанных сверху землей; деревья растут для того, чтобы прятался на них Али Баба; бифштексы жарятся для того, чтобы кидать их в Долину Алмазов, где к ним прилипнут драгоценные камни, а потом орлы унесут их в свои гнезда, а потом купцы громким криком спугнут орлов из гнезд. Пироги сделаны все по рецепту сына буссорского визиря, который превратился в кондитера после того, как его высадили в исподнем платье у ворот Дамаска; каждый сапожник — Мустафа и имеет обыкновение шить разрезанных на четыре части людей, к которым его приводят с завязанными глазами.

Каждое вделанное в камень медное кольцо — это вход в пещеру и только ждет волшебника; немного огня, немного колдовства — и вот вам землетрясение. Все финики, сколько их ввозится к нам, сняты с того самого дерева, что и тот злосчастный финик, косточкой которого купец выбил глаз невидимому сыну джинна. Все маслины — из того их запаса, о котором узнал правитель правоверных, когда подслушал, как мальчик, играя, производит суд над нечестным продавцом маслин; все яблоки сродни яблоку, купленному (вместе с двумя другими) за три цехина у султана садовника и украденному у ребенка высоким чернокожим рабом. Все собаки напоминают ту собаку (а на самом деле — превращенного в собаку человека), которая вскочила на прилавок будочника и прикрыла лапой фальшивую монету. Рис всегда приводит на память тот рис, который страшная женщина-вампир могла только клевать по зернышку в наказание за свои ночные пиршества на кладбище. Даже моей лошади-качалке (вот она тут с вывернутыми до отказа ноздрями — признак породы!) вбит колышек в шею в память того, как я взвизывался на ней, подобно персидскому принцу, унесенному ввысь деревянным конем на глазах у всех придворных его отца.

Да, на каждом предмете, что я различаю среди верхних ветвей моей рождественской елки, я вижу отблеск сказочного света. Когда я просыпаюсь в кровати, зимним утром, холодным и темным, и белый снег за окном лишь смутно видится сквозь заиндевевшее стекло, я слышу голос Динарзады: «Сестра, сестра, если ты еще не спишь, умоляю тебя, доскажи мне историю о молодом короле Черных Островов». — «Если султан, мой государь, — отвечает Шахразада, — позволит мне прожить еще один день, сестрица, я не только доскажу эту историю, но прибавлю к ней и другую, еще более чудесную». Тут милостивый султан уходит, не отдав приказа о казни, и мы все трое снова можем дышать.

На этой высоте я вижу притаившийся в ветвях моего дерева чудовищный кошмар — быть может порожденный индейкой, или пудингом, или мясным пирогом, или фантазией, взошедшей на дрожжах из Робинзона Крузо на необитаемом острове, Филипа Кворла [9] среди обезьян, Сэйдфорда и Мертонна с мистером Барлоу [10], матушки Банч, и Маски, — или, может быть, тут виновато расстройство желудка и к нему — разыгравшееся воображение и чрезмерное усердие врачей... Он лишь смутно различим, и я не знаю, почему он страшен — знаю только, что страшен... Я только могу разглядеть, что это какое-то нагромождение бесформенных предметов, как будто насаженных на безмерно увеличенные раздвижные подставки для оловянных солдатиков, и оно то медленно придвигается к самым моим глазам, то отступает в туманную даль. Хуже всего, когда оно подступает совсем близко. В моей памяти этот кошмар связан с бесконечно долгими зимними ночами; с тем, как меня в наказание за какой-нибудь мелкий проступок рано отсылали спать и как я просыпался через два часа с таким чувством, точно проспал две ночи; как угнетало меня ожидание рассвета (а вдруг он не настанет никогда?), как давила тяжесть раскаяния.

А вот, я вижу, где-то внизу перед широким зеленым занавесом мягко замерцал чудесный ряд огоньков. Раздается звонок — волшебный звонок, который по сей день звучит в моих ушах, непохожий на все другие звонки, — и заиграла музыка среди жужжания голосов и душистого запаха апельсиновой корки и гарного масла. А потом волшебный звонок приказывает музыке

смолкнуть, и большой зеленый занавес торжественно взвивается, и начинается спектакль! Преданная собака из Монтаржи [11] мстит за смерть своего хозяина, предательски убитого в лесу Бонди; и пересмешник-крестьянин с красным носом и в очень маленькой шляпе, которого с этого часа я полюбил как задушевного друга (он, кажется, изображал полового или конюха в деревенской гостинице, но мы уже много лет не встречались), отпускает замечание, что у собачки-то и впрямь ума палата, и это шутливое замечание будет снова и снова оживать в моей памяти, в неувядаемой свежести, как венец всех возможных шуток, до конца моих дней! Или вдруг я с горькими слезами узнаю, как бедная Джейн Шор [12], вся в белом, с распущенной каштановой косой, бродит голодная по улицам; или как Джордж Барнуэл [13] убил достойнейшего в мире дядю и так потом сокрушался, что его следовало бы отпустить на свободу. Но вот на смену спешит утешить меня Пантомима, — изумительное явление! — когда стреляют Клоуном из заряженной мортиры в люстру, это яркое созвездие; когда Арлекин, сплошь покрытый чешуею из чистого золота, извивается и сверкает невиданной рыбой; когда Панталоне (полагаю, тут нет ничего непочтительного, если я мысленно приравниваю его к своему дедушке) сует в карман раскаленную кочергу и кричит: «Кто-то идет!», или уличает в мелкой краже Клоуна, приговаривая: «Да я же видел, это сделал ты!», потому что здесь все способно превратиться во что угодно и «нет ничего, чего бы не преобразала мысль» [14]. И тут я, видимо, впервые знакомлюсь с томящим ощущением, — не раз потом возникавшим у меня в моей дальнейшей жизни, — что завтра я не смогу вернуться в скучный мир установленных правил; что я хочу остаться навсегда в яркой атмосфере, которую покидаю; что я всей душой привержен маленькой фее с волшебною палочкой, похожею на жезл небесного цирюльника [15], и мечтаю сделаться бессмертным, как фея, чтобы вечно быть возле нее. Ах, она возвращалась во многих обличьях, когда мой глаз скользил вниз по ветвям моей рождественской елки, и так же часто уходила, а ни разу не осталась со мной!

вернуться

6

Валентин — герой средневекового французского романа из Каролингского цикла о двух братьях, один из которых был вскормлен медведицей в лесу (Орсон), другой (Валентин) воспитывался при дворе императора Пепина. Первое издание «Истории Валентина и Орсона» относится к 1495 году. Впервые этот сюжет был перенесен на английскую почву в 1550 году.

вернуться

7

Желтый Карлик — злой персонаж сказки французской писательницы Марии д'Олуа (1650—1705) — автора обработок сказок и исторических сочинений.

вернуться

8

Матушка Банч. — Имя матушки Банч — легендарной содержательницы лондонской пивной XVI века — вошло в названия многих сборников анекдотов и шуток (XVII в.).

вернуться

Филип Кворл — герой «Приключений Филипа Кворла» (1727), приписываемых перу Э. Дорингтона.

вернуться

Сэндфорд, Мертон и мистер Барлоу — герои популярной английской детской книги «История Сэндфорда и Мертона» Томаса Дэя (1748—1789).

вернуться

Преданная собака из Монтаржи... — легендарная собака рыцаря Обри де Мондидье, обнаружившая убийцу своего хозяина в лесу Бонди близ Монтаржи.

вернуться

Джейн Шор (ум. ок. 1527 г.) — фаворитка Эдуарда IV; упоминается в ряде произведений английской литературы.

вернуться

Джордж Барпуэл — герой бытовой драмы Лилло (1693—1739) «История Джорджа Барнуэла, или Лондонский купец» (1731).

вернуться

«Нет ничего, чего бы не преображала мысль» — искаженная цитата из «Гамлета», акт II, сц. 2-я.

вернуться

...похожею на жезл небесного цирюльника... — Жезл, выкрашенный по спирали красным и белым, является эмблемой цирюльника. Эта эмблема восходит ко времени, когда функции цирюльника и лекаря исполнялись одним лицом, и напоминает руку, забинтованную для кровопускания.

Из этого очарования возникает игрушечный театр — вот и он: как мне знаком его просцениум, и теснящиеся в ложах дамы в перьях, и вся сопутствующая возня с пластилином и клейстером и акварелью при постановке «Мельника и его работников» и «Елизаветы, или Изгнания в Сибирь»! Несмотря на кое-какие неполадки и погрешности (как, например, неразумная склонность почтенного Кельмара и некоторых других ощущать слабость в коленях и сгибаться пополам в волнующих местах драматического действия), богатый мир фантазии оказался таким захватывающим и таким неисчерпаемым, что много ниже на моей рождественской елке я вижу грязные и темные при свете дня настоящие театры, украшенные этими ассоциациями, как самыми свежими гирляндами из самых редких цветов, и все еще пленительные для меня.

Но, чу! Зазвучали под окном рождественские песни и разгоняют мой детский сон. Какие образы встают предо мной при этих звуках, представляясь мне рассаженными по ветвям рождественской елки? Издавна знакомые — раньше всех других — и не заслоненные всеми другими, они теснятся вокруг моей кровати. Ангел заговаривает в поле с толпой пастухов; путники возводят ввысь глаза, следя за звездой; младенец в яслях; дитя в огромном храме держит речь перед маститыми людьми; спокойный человек с прекрасным и кротким лицом берет за руку мертвую девушку и воскрешает ее; и он же у городских ворот вновь призывает к жизни с одра смерти сына вдовы; люди, столпившиеся вокруг, заглядывают в распаханную крышу комнаты, где он сидит, и на веревках спускают больного вместе с ложем; он же в бурю идет по воде к кораблю; и вот он на берегу поучает большую толпу; вот сидит с ребенком на коленях, а вокруг него другие дети; вот он дарует зрение слепому, речь немому, слух глухому, здоровье больному, силу увечному, знание невежде; вот умирает на кресте под охраной вооруженных воинов, и спускается мрак, трясется земля и слышится лишь одинокий голос: «Прости им, ибо не ведают, что творят!»

Ниже, на более взрослых ветвях рождественской елки, воспоминания теснятся так же густо. Захлопнуты учебники. Смолкли Овидий с Вергилием [16]; давно пройдено тройное правило с его наглыми и въедливыми, вопросами. Теренций и Плавт больше не разыгрываются на арене из сдвинутых парт, сплошь в кляксах, зарубках, зубринах; а повыше — тоже заброшенные — крикетные биты, воротца, мячи, и запах вытоптанной травы, и заглушенный шум голосов в вечернем воздухе; елка еще зеленая, еще веселая. Если я перестал приезжать домой на рождество, так хватит (слава богу!) других мальчиков и девочек на все время, покуда мир стоит; и они приезжают! Вот они весело играют и танцуют по ветвям моей елки, благослови их бог, и сердце мое играет и танцует вместе с ними!

А впрочем, и я пока еще приезжаю домой на рождество. Мы все приезжаем домой, или должны приезжать, на короткие каникулы — чем длиннее, тем лучше — из той большой школы, где мы, не ладя с арифметикой, вечно бьемся над аспидной доской; приезжаем, чтобы отдохнуть самим и дать отдых другим. А куда поехать погостить? Да куда захотели, туда и поехали! Где только мы не побываем, когда нам того захочется: от рождественской елки фантазия помчит нас куда угодно.

Вдаль, в зимнюю дорогу! На елке их не мало! То по низменной мгlistой земле, сквозь туманы и топи, то в гору, вьется она, темная как пещера, между густыми зарослями, почти закрытыми сверкание звезд; так выбиваемся мы к простору нагорья, покуда вдруг не умолкает стук копыт: мы остановились у въезда в парк. Колокольчик над воротами полным, почти что жутким звуком прогудел в морозном воздухе; ворота, распахнувшись, покачиваются на петлях; и когда мы едем по аллее к большому дому, мерцающий в окнах свет разгорается ярче и два ряда деревьев как бы торжественно расступаются, чтобы нас пропустить. Весь день было так, что по белому полю нет-нет, а пронесется испуганный заяц; или отдаленный топот оленьего стада по твердой мерзлой земле вдруг на минуту нарушит тишину. Зоркие глаза

олений, наверно, и сейчас, если приглядеться, засверкают под папоротником ледяными росинками на листе; но сами олени притихли, как притихло все вокруг. Итак, в то время, как свет в окнах разгорается ярче и деревья перед нами расступаются и смыкаются за нами вновь, как будто запрещаая отступление, мы подъезжаем к дому.

Наверно, стоит все время запах печеных каштанов и прочих вкусных вещей, потому что мы рассказываем зимние истории или истории о привидениях (как же без них!) у рождественского камелька; и мы не трогались вовсе с места — разве что придвигались поближе к огню. Но это неважно. Мы вступили в дом, и это — старый дом, он полон больших каминов, где жгут по старинке огромные поленья, и мрачные портреты (с иными из них связаны мрачные предания) подозрительно косятся с дубовой обшивки стен. Мы — средних лет высокородный дворянин и сидим за богатым ужином с хозяином дома, его женой и гостями — святки, значит в доме большой съезд, — а потом отправляемся почивать. Комната наша очень старая. Она увешана гобеленами. Нам не нравится портрет кавалера в зеленом, над полкой камина. Большие черные балки проходят по потолку, полог большой черной кровати поддерживают в изножье две большие черные фигуры: так и кажется, что они нарочно, ради нашего удобства, сошли с двух надгробий в старой баронской церкви в парке. Но мы не суеверны, и нас это не смущает. Так! Мы отпустили своего слугу, заперли дверь и сидим в халате у огня, раздумывая о разных вещах. Наконец мы ложимся спать. Так! Мы не можем уснуть. Ворочаемся, мечемся и не можем уснуть. В камине судорожно полыхают угольки и придают комнате призрачный вид. Мы невольно поглядываем из-под одеяла на две черные фигуры и на кавалера... на кавалера с неприятным взглядом... кавалера в зеленом. Во вспышках света они то как будто придвигаются, то отступают, что, хоть мы ничуть не суеверны, нам неприятно. Так! У нас расходятся нервы — все хуже и хуже расходятся нервы. Мы говорим: «Очень глупо, но мы не можем этого перенести. Прикинемся больными и постучим — пусть кто-нибудь придет». Так! Только мы собрались постучать, запертая дверь раскрывается и входит молодая женщина, мертвенно-бледная, с длинными светлыми волосами, плавно придвигается к огню, садится в оставленное нами кресло и ломает руки. Потом мы видим, что платье на ней мокрое. У нас язык прилип к гортани, и мы не можем заговорить; но мы в точности все примечаем. На ней мокрое платье; в длинных ее волосах запуталась тина; одета она, как было в моде двести лет назад; и на поясе у нее связка ржавых ключей. Так! Она тут сидит, а мы оцепенели и не можем даже лишиться чувств. Вот она встает и пробует все замки в комнате своими ржавыми ключами, но ни один не подходит; потом останавливает глаза на портрете кавалера в зеленом и говорит тихим, зловещим голосом: «Об этом знают олени!» Потом опять ломает руки, скользит мимо кровати и выходит через дверь. Мы поспешно надеваем халат, хватаем пистолеты (мы ездим всегда с пистолетами) и бросаемся вслед, но дверь оказывается заперта. Мы повернули ключ, выглянули в темную галерею — там никого. Мы бредем обратно, пытаемся найти своего слугу. Не находим его. Мы до рассвета шагаем по галерее; потом возвращаемся в оставленную нами комнату, засыпаем, и нас будят наш слуга (его-то не смущали никакие призраки) и яркое солнце. Так! За завтраком мы едим через силу, и все за столом говорят, что у нас какой-то странный вид. После завтрака хозяин обходит с нами дом, мы подводим его к портрету кавалера в зеленом, и тут все разъясняется. Кавалер обольстил молодую домоправительницу, которая преданно служила этой семье и славилась своей красотой; она утопилась в пруду, и много позже ее тело было обнаружено потому, что олени не желали больше пить воду из этого пруда. После чего стали поговаривать тишком, что в полночь она расхаживает по дому (но заходит чаще всего в ту комнату, где обычно спал кавалер в зеленом), пробуя старые замки ржавыми ключами. Так! Мы рассказываем хозяину дома, что мы видели, и по его лицу проходит тень, и он просит нас сохранить это в тайне. Мы так и сделали; но это истинная правда; и мы ее поведали перед смертью (нас уже нет в живых) некоторым вполне почтенным людям.

Овидий (43 г. до н.э. — 17 г. н.э.), *Вергилий* (70—19 гг. до н.э.) — древнеримские поэты.

Счета нет старым домам с гулкими галереями, унылыми парадными спальнями и закрытыми много лет флигелями, в которых «нечисто» и по которым мы можем слоняться с приятной щекоткой в спине и встречать призраки в любом количестве, но все же (это стоит, пожалуй, отметить) сводимые к очень немногим общим типам и разрядам: потому что призраки не отличаются большой своеобычностью и бродят по проторенным тропам. Бывает, например, что в некоей комнате некоего старого помещичьего дома, где застрелился некий злой лорд, барон, баронет или просто дворянин, имеются некие половицы, с которых не сходит кровь. Вы можете их скоблить и скоблить, как делает теперешний владелец дома, или стругать и стругать, как делал его отец, или скрести и скрести, как делал его дед, или травить и травить кислотами, как делал его прадед, — кровавое пятно все равно остается, не ярче и не бледней, не увеличиваясь и не уменьшаясь, всегда такое же точно. Бывает, в другом подобном доме имеется загадочная дверь, которую никак не отворить; или другая дверь, которую никак не затворить; или слышится загадочное жужжание веретена, или стук молотка, или шаги, или крик, или вздох, или топот коня, или лязг цепей. А то еще имеются часы на башне, выбивающие в полночь тринадцать ударов, когда должен умереть глава семьи; или призрачная, недвижимая черная карета, которая в такое время непременно привидится кому-нибудь, ожидающая у ворот, что ведут к конюшням. Или бывает так, как случилось с леди Мэри, когда она приехала погостить в большом запущенном замке в горной Шотландии и, утомленная долгой дорогой, рано легла спать, а на другое утро, за завтраком, простодушно сказала: «Как странно, в таком отдаленном месте поздно вечером — гости, а меня никто о том не предупредил, когда я пошла спать!» Тут все стали спрашивать леди Мэри, что она имеет в виду? Леди Мэри ответила: «Да как же, всю ночь по гребню вала под моим окном кружили и кружили кареты!» Тут хозяин побледнел, и побледнела его жена, а Чарльз Макдудл из Макдудла сделал знак леди Мэри больше ничего не добавлять, и все примолкли. После завтрака Чарльз Макдудл объяснил смущенной леди Мэри, что в семье есть поверье, будто эти проезжающие с грохотом по гребню вала кареты предвещают смерть. Так и оказалось: два месяца спустя владетельница замка умерла. И леди Мэри — а она была фрейлиной при дворе — частенько рассказывала эту историю старой королеве Шарлотте, наперекор старому королю, который постоянно говорил: «Что, что? Привидения? Нет их, это все выдумки, выдумки!» И, бывало, не перестает повторять это, пока не пойдет спать.

Или друг нашего общего знакомого в юности, когда учился в колледже, имел в свой черед загадочного друга, с которым уговорился, что, если возможно для духа после разлуки с телом вернуться на эту землю, тот из них двоих, кто первый умрет, явится второму. С течением времени наш герой позабыл об уговоре; жизнь у обоих молодых людей сложилась по-разному, и их пути далеко разошлись. Но однажды ночью, много лет спустя, когда наш герой, попав в северную Англию, заночевал в гостинице где-то на йоркширских болотах, ему случилось выглянуть из кровати; и тут в лунном свете он увидел... своего старого друга, товарища по колледжу: он стоял, опершись на письменный стол у окна, и пристально глядел на него! Призрак, когда к нему обратились, ответил вроде бы шепотом, но очень внятно: «Не подходи ко мне. Я мертв. Я явился сюда, исполняя свое обещание. Я пришел из другого мира, но не могу разглашать его тайны!» Потом призрак стал бледнеть и, постепенно расплываясь, истаял в лунном свете.

Или так: у первого владельца живописного елизаветинского дома, что славится на всю нашу округу, была дочь. Вы слышали о ней? Нет?! Так вот, однажды, летним вечером, в сумерки, она — красивая юная девушка семнадцати лет — вышла в сад, чтобы нарвать цветов; и вдруг она, перепуганная, вбегает в дом к отцу и говорит: «Ох, дорогой мой отец, я встретила самое себя!» Он обнял ее и сказал, что это ей почудилось, но она сказала: «Ах нет! Я встретила самое себя на широкой аллее, и я была бледна и собирала увядшие цветы, и я повернула голову и подняла цветы над головой!» И в ту же ночь она умерла; и начата была картина, изображающая ее историю, но осталась недописанной, и говорят, она и сейчас стоит где-то в доме, лицом к стене.

Или так: дядя жены моего брата теплым вечером, на закате, ехал верхом домой, когда на зеленом проселке, совсем уже близко от своего дома, увидел человека, стоявшего перед ним в точности на середине узкой дороги. «Зачем стоит здесь этот человек в плаще? — подумал он. — Хочет, что ли, чтобы я его переехал?» Но фигура не двигалась. Ему стало жутко от этой неподвижности, но он сбавил ход и поехал дальше. Когда он наехал так близко, что едва не задел ее стремени, его конь шархнул, а фигура заскользила вверх по кособоку, каким-то необычным, неземным, способом — пятась и как будто не переступая ногами, — и скрылась из глаз. Дядя жены моего брата, воскликнув: «Боже мой! Это Гарри, мой кузен из Бомбея!» — дал шпоры внезапно взмылившемуся коню и, удивляясь странному поведению гостя, понесся к своему дому — в объезд, к главному фасаду. Здесь он увидел ту же фигуру, входившую через высокую стеклянную дверь прямо в гостиную. Он бросил поводья слуге и поспешил вслед. Сестра его сидела в гостиной одна. «Элис, а где наш кузен Гарри?» — «Кузен Гарри, Джон?» — «Да. Из Бомбея. Я только что встретился с ним на проселке и видел, как он сию секунду вошел сюда». Никто в доме не видел ни души; но в тот самый час и минуту, как выяснилось впоследствии, этот кузен умер в Индии.

А то еще была одна рассудительная леди, умершая старой девой на девяносто девятом году жизни и до конца сохранившая ясность ума; и она видела воочию Мальчика-Сироту, чью историю часто рассказывают неправильно, но о ком мы вам поведаем истинную правду — потому что история эта имеет прямое касательство к нашей семье, а старая леди состоит в родстве с нашей семьей. Когда ей было лет сорок и она была еще на редкость красивой женщиной (ее жених умер молодым, почему она так и не вышла замуж, хотя многие искали ее руки), она приехала погостить в одно имение в Кенте, недавно купленное ее братом-купцом, который вел торговлю с Индией. Шла молва, что когда-то управление этим имением было доверено опекуну одного маленького мальчика; и опекун, будучи сам ближайшим его наследником, уморил этого мальчика своим суровым и жестоким обращением. Она об этом ничего не знала. Говорили, будто в ее спальне оказалась клетка, в которую опекун будто бы сажал мальчика. Ничего такого там не было. Там был только чулан. Она легла спать, не поднимала ночью никакой тревоги, а утром спокойно спросила у горничной, когда та вошла: «Кто этот хорошенький ребенок с печальными глазами, что всю ночь выглядывал из чулана?» Горничная вместо ответа громко вскрикнула и тотчас убежала. Леди удивилась; но она была женщина замечательной силы духа: она оделась, сошла вниз и заперлась наедине со своим братом. «Вот что, Уолтер, — сказала она, — мне всю ночь не давал покоя хорошенький мальчик с печальными глазами; он то и дело выглядывал из того чулана в моей комнате, который я не могу открыть. Это чьи-то проказы». — «Боюсь, что нет, Шарлотта, — ответил брат. — С домом связано предание, и этот случай его подтверждает. Ты видела Мальчика-Сироту. Что он делал?» — «Он тихонько отворял дверь, — сказала она, — и заглядывал ко мне. Иногда входил и делал шаг-другой по комнате. Тогда я его подзывала, чтоб его приободрить, но он пугался, вздрагивал и прятался опять в чулан и закрывал дверь». — «Из чулана, Шарлотта, — сказал брат, — нет хода в другие помещения дома, и он заколочен». Это была бесспорная правда, и два плотника протрудились с утра до обеда, пока смогли открыть чулан для осмотра. Тогда она

убедилась, что видела Мальчика-Сироту. Но самое страшное и мрачное в этой истории то, что Сироту видели также один за другим три сына ее брата, и все трое умерли малолетними. Каждый из них заболел при таких обстоятельствах: за двенадцать часов перед тем он прибежал весь в жару и говорил матери, что — ах, мол, мама, он играл под большим дубом на известном лугу с каким-то странным мальчиком — хорошеньким, с печальными глазами, который был очень пуглив и подавал ему знаки! По горестному опыту родители знали, что это был Мальчик-Сирота и что их ребенку, с которым он вступил в игру, недолго осталось жить.

Имя легион тем немецким замкам, где мы сидим в одиночестве, ожидая появления Призрака; где нас проводят в комнату, которой придан ради нашего приезда относительно уютный вид; где мы следим взором за тенями, пляшущими на голых стенах под потрескивание огня в камине; где нас охватывает чувство одиночества, когда содержатель деревенской гостиницы и его миловидная дочка уйдут к себе, подложив побольше дров в огонь и поставив на столик незатейливый ужин — холодного жареного каплуна, хлеб, виноград и бутылку старого рейнвейна; где захлопнутся за ними одна за другой несколько дверей и эхо гулко прозвучит, как столько же грозных раскатов грома; и где нам после полуночи откроются различные сверхъестественные тайны. Имя легион тем преследуемым призраками немецким студентам, в чьем обществе мы, когда вдруг распахнется дверь, только ближе придвинемся к огню, между тем как маленький школьник в своем углу широко раскроет глаза и убежит, вскочив со скамеечки, на которой было прикорнул. Обилен урожай такого рода плодов, сверкающих на нашей рождественской елке: их цвет украшает ее чуть не у самой вершины; внизу же наливаются на ветвях плоды — чем ниже, тем зреее!

Пусть среди более поздних утех и забав, нередко столь же праздных, но менее чистых, пред нами, вовек неизменные, маячат видения, что нам являлись, бывало, под милые старые рождественские песни, под мягкую вечернюю музыку. Среди светской суеты рождественских праздников пусть по-прежнему, в неизменном обличий, стоят перед нами те образы, что в детстве воплощали для меня добро. В каждом светлом представлении и помысле, порожденном этой порою, та яркая звезда, что встала над бедною крышей, да будет звездой всего христианского мира! Постой минуту, о исчезающая елка, так темны для меня твои нижние ветви — дай мне взглянуть еще раз. Я знаю, там у тебя между сучьями есть пустые места, где улыбались и сияли любимые мною глаза, ныне угасшие. Но в вышине я вижу воскресителя мертвой девушки, воскресителя сына вдовы; и бог добр! Если где-то внизу в твоей непроглядной чаще для меня упрятана старость, о пусть мне будет дано уже седому возносить к этому образу детское сердце, детское доверие и упование.

Вокруг елки теперь расцветает яркое веселье — пение, танцы, всякие затеи. Привет им! Привет невинному веселью под ветвями рождественской елки, которые никогда не бросят мрачной тени! Но когда она исчезает из глаз, я слышу доносящийся сквозь хвою шепот: «Это для того, чтобы люди не забывали закон любви и добра, милосердия и сострадания. Чтобы помнили обо мне!»